

## ОГОНЬ

Случаются человеческие поселения в глубине дикой природы. На сотни миль — океан в пене, ветер, небо, растрепанное и седое, не знающее ни края, ни препятствий. И если плыть на судне — плыть, а не идти, как мореманы, рисуясь, говорят в присутствии сухопутных, а именно плыть, как они говорят между собой, потому что в шторме ты плывешь и болтаешься, подобно тому веществу в проруби, — если плыть много и много дней подряд, то может показаться, что не будет конца ветру, дождю, волнам, пене. Но одним утром поверхность океана раздастся, и вздыбится обильной тучной зеленью остров с вулканами и сопками в драных облаках, раскинется нелепая городьба на берегу: домики, обитые черным рубероидом, электрические столбы, длинный деревянный склад возле пирса. Мокрая неустроенность, и все держится неизвестно на чем, притулилось на берегу, а где он, берег, твердь, где океан? Хлещет вода со всех сторон: с неба, из океана, потоками с сопки. По улочке, как по реке вброд, против урагана продирается пригнувшийся человек в резиновом плаще. А в миле от берега — городьба из десятка судов на рейде, перемогающихся в широком взбаламученном заливе.

И нужно дождаться ночи, чтобы пришла тишина. Ночью шторм заляжет, на берегу включатся жиденские огни от электростанции с тремя старыми дизелями, и станут

огни тлеть посреди тьмы — будто окаянные сироты побредут с фонарями сквозь дикий мир. Бывали эпохи, когда такие маленькие морские поселения спасали огромную страну. Без хлеба и мяса, она годами сидела на селедке, и весь мир дивился, что голодная страна оставалась жива и воинственна. Теперь, до нового бунта или войны, тихие поселения, как маленькие забытые открывателями государства, будут плыть в собственном времени, ничего не разыскивая, не запоминая пути и не намечая себе никаких причалов в будущем.

\*\*\*

В западном углу океана случайный летний тайфун, накручивая спирали с северо-востока, двое суток уволокивал в непроглядную муть остров и поселок рыбаков на берегу залива. Тайфун валил столбы, рвал провода, опрокидывал сарайчики и теплицы. Дощатый курятник над крутым склоном от страшного удара ветра вдруг распался, и в ревущем потоке закувыркались выломанные доски и выброшенные на волю всклокоченные куры. Налетал горизонтальный заряд ливня, иссекая холодными иглами землю, стены домиков, деревья, травы, всякого живого, что посмел высунуться наружу. На второй день река подняла широкий деревянный мост, медленно развернула, вынесла в море, и волны — короткие, высокие, хлесткие — выплюнули его вместе с пеной на берег по бревнышку, море завалило берег мусором и грязно-желтой пеной.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Люди в домиках два дня томились ожиданием, словно были посажены в старые просмоленные бочки и брошены в волны. И всякий гвидон, прикидывая убытки, застенчиво слушал, не разобьет ли бочку о скалы, — допоздна сидел за столом, жег свечные огарки, потягивал дешевую привозную китайскую водку из рисовых отрубей. И жизнь, с ее теплом и мыслями, с надеждами и горестями, будто вся выдавливалась из пространства тайфуном и стекалась в эти маленькие островки: в людей, в их тела, в нежные оболочки.

На третье утро скорлупа непогоды раскололась, и в небе у самого горизонта растекся ослепительно сверкающий желток. Этим утром в поселке запылал пожар — не огнем, потому что огонь поблек в солнечных лучах, а черными заворачивающими клубами стал возноситься в небеса построенный еще японцами домишко у реки. Он ветшал, прел, кренился уже, пожалуй, лет сто, и пришло бы ему время тихо замереть в безобразных развалинах, однако жизнь его закончилась красиво, вихреобразно и бунтарски, чего никто не ожидал от такой развалюхи. Но, может быть, не обошлось без поджигателя, потому что по такой мокряди после тайфуна дома еще никогда не горели в поселке, а может, было все куда проще: огоньку подбросили сами безалаберные хозяева. Все это так и осталось тайной, реальным же было только то, что еще до пожара, ночью, хозяйка двух комнат в левой половине дома Таня Сысоева металась в постели, и воображение ее не давалось ни сну, ни бодрствованию.

Утробно, переливчато, жутко выло за стенами, и женщина маялась от всепоглощающей тоски — по кому, по чему, сама не знала, и незнание это тяготило сквозь дрему, терзало больше всего, будто заставили ее бродить в страшном месте с завязанными глазами. А потом она забылась на короткий час, когда же вновь перед рассветом открыла глаза, погромоленный мир за стенами оцепенел в безветрии. Она выбралась из сна, как из-под каменной плиты. И сама занемела в отсыревшей постели, будто пролежала под камнем долгие годы. Сквозь оцепенение несло еле уловимым гулом: в двух километрах от поселка, за длинной косой, прикрывающей залив, темный океан бросал на берег мертвую зыбь. И гулом этим, порой растворяющимся в инфразвуке, давило на грудь, на голову, вязало по рукам и ногам. И врвался в нее запах: муторный, нестерпимый. Спал под боком у Тани, сунувшись плешивой головой ей в подмышку, мужичок Миша Наюмов. Она, почувствовав его рядом, прилипшего потной шкурой к ней, его тяжелую жаркую руку на своих ногах и вспомнив, как два дня назад затесался он в ее хмельной круговорот, в дом ее, под самое ее крылышко, подумала, да и не подумала даже, потому что какие же могли быть думы в опустошенной похмельной голове, а, скорее, только почувствовала, что вот в таком исполнении мужичок этот ей совсем невоготу. Пока он зубоскалил и брэнчал на гитаре да пока тискал ее, сколько мог и как мог — что с него возьмешь, — был он ей терпим. А такой: спящий, потный, храпящий — стал даже мерзок. Она провела пальцами по его голове, пробурчала безглаголиво: «Сморчок плешивый...» Выбралась из-под его

руки, скинула с себя одеяло и, разом переместившись голым телом из потной духоты в сырую прохладу комнаты, поднялась. Озноб прошелся по ней, и она, чувствуя все-таки приятность прохладного воздуха и озноба, съежилась, приобняла себя за плечи, раздавливая в лепешечки маленькие грудки, сказала: «Брр...» Села на холодный стул, так же приобнимая себя, вздрагивая от озноба, стала смотреть на спящего. По всему дому — по постели, по стульям, по столу — Миша успел напаять своего запаха: табачной кислятины, старого кобелиного пота и будто какой-то плесени. И эти мужские запахи, всегда цепящие Танину душу, теперь вдруг расшевелили в ней брезгливость. В потемках докапывала вода с потолка, и Таня вычленяла этот звук из всех, что долетали до нее, но не вникала в него, он мерещился чем-то невнятным, тенькающим, как подергивание перетянутой струны в гитаре. Она закурила. Приторный запах утонул в дыму. Жадно затягивалась сигареткой — до головокружения, пока не припекло огоньком пальцы. Тогда Таня сунула окурочку в блюдце. Нужно было опять лечь рядом с Мишей, но она не могла себя пересилить. Наклонилась к нему, потрясла — не за открытое плечо, а там, где одеяло лежало на его руке.

— Миш... Миш...

Он проснулся и всполошенно заговорил, разворачиваясь, скидывая с себя одеяло, будто готовый встать, но только приподнимаясь на локте:

— А?! Что?!

Она же в патоку еще не отпустившего его сна проговорила торопливо, пока он не опомнился:

— Уходи, Миша. Прямо сейчас вставай и уходи...

Он вновь откинулся на спину, улегся, подтянув одеяло к подбородку, пытаюсь осмыслить ночную побудку, медленно выплывая из сна, и Таня примолкла, угадывая в сумраке его блуждающий блестящий взгляд и его безмыслие, переливающееся в раздражение, которому мало слов, чтобы ответно досадить.

— Ты что?.. Совсем?..

— Я хочу, чтобы ты ушел, прямо сейчас...

— Ты что?.. — он закипал. — Ты башкой-то думаешь?.. Самый сон...

Он стал шумно отворачиваться к стене, натягивая одеяло на голову, сердито бурча. Она дождалась, когда он затихнет, и сказала отдельно и твердо:

— Если ты сейчас не уйдешь, я подожду, пока ты заснешь, а потом зарежу тебя во сне.

Он полежал несколько секунд затаенно, но опять заворочался, повернулся, посмотрел на нее не мигая, но против мерцающего предрассветного окна ничего не видел, только темный силуэт, нависающий над ним, неподвижный, непохожий на нее, потому что она была маленькая, как девочка-подросток, а теперь от ее молчания веяло жутью.

— Больная, что ли, дура?.. Ну ты дура. Я те, сука, так зарежу, ты думай, чего говоришь-то...

Она молчала. Тогда он резко встал, прошлепал к столу, пошарил там, щелкнул зажигалкой, закуривая, и лицо его вплыло в темноту малиновыми пятнами и резко очерченными складками ожесточения у губ и глаз, и глаза были прищурены. Тане же, смотревшей на него сбоку,

было все равно, что он сделает дальше: развернется и тут же ударит, или ударит потом, или что-то еще. Но, закурив, он вдруг повел себя совсем иначе, сел на диван и сказал — не испуганно и не примиряюще, а так, будто почувствовал за собой вину:

— Ну ты чего?.. Чего случилось?

Она закрыла лицо руками и сказала в ладони влажно и глухо:

— Я хочу, чтобы ты ушел...

— Ну, уйду, утром уйду... — согласился он, услышав слезливость в ее голосе, снисходительно положил руку ей на колено и стал поглаживать и подавливать жесткими шершавыми пальцами. — Ну ты чего?..

Но она убрала руки от лица и опять заговорила тем жутковатым голосом, отделяя каждое слово:

— Я тебе уже сказала. Лучше уйди. Я тебя прошу...

— Ну ты вообще... — Он убрал руку и продолжал сидеть, курить и покачивать головой, и сам же ловил себя на том ощущении, что ему боязно отвернуться от нее. Тогда он длинно, тягуче сплюнул на пол — наверное, со зла на самого себя.

— И то верно: на кой ты мне, стебанутая.

Поднялся, стал одеваться, вяло, как будто безвольно приговаривая уже не столько озлобленно, сколько растерянно:

— Ну тебя... Совсем сдурела...

Она же не смотрела на него, а он, удивляясь тому, что сдался так быстро, оделся, остановился у нее за спиной, может быть, в раздумье, не побить ли все-таки напоследок,

но так и не ударил, ушел, оставив обе двери распахнутыми настежь. И только на улице опешил, остановился, теперь уже окончательно не понимая себя: «Чего это я?.. Надо было врезать шмаре... Ну, мартышка хренова, ты у меня еще попляшешь...»

С его уходом она медленно поднялась, пошла к раскрытым дверям, постояла, обессиленно держась за дверной косяк, взирая на домики впереди, приземистые, темные, будто раздавленные светлеющим небом, в которое они выставили длиннющие ветвистые телеантенны. Прохладный воздух волнами омывал обнаженное тело. Она судорожно вздрогнула и захлопнула дверь, на ослабевших ногах вернулась в комнатку, повалилась на диван и не накрылась, а, заходясь в ознобной дрожи, зарылась под одеяло и дальше — головой под подушку. И, уже согреваясь, затихая, она заплакала — не тем надрывным плачем, который переворачивает человеку душу, а тихими, ночными слезами, может быть, даже успокаивающими, убаюкивающими, на плач-то непохожими, которые могут прийти разве только во сне и разве только женщине или ребенку.

Она стала западать в вязкое облако, поплыли перед ее взором странные, сменяющие друг друга лица, имеющие необычайно ясные черты, так что можно было разглядеть мельчайшую морщинку у глаз, или трещинку на губах, или ресничку и малейший прозрачный волосок на висках — все то, что никогда не бывает замечено на обычных человеческих лицах. Были эти обличья и человеческими, и в то же время нечеловеческими, словно неживыми. Но, растолкав всех, пришел к ней незнакомый мохнатый

мужчина с черной кудлатой шевелюрой и хмурыми бровями. Стоял над ней, губы его кривились внутри свалывшейся бороды, он будто ехидничал и смаковал предстоящее удовольствие. И вдруг всей тушей навалился на нее, подмял и принялся душить волосатыми ручищами. Воняло от мужичины потом и гарью, он так и дышал в лицо дымными клубами.

Она бессильно шевельнула пальцами и, чувствуя, что улетает в густую мглу, заполошно подумала: «Господи! Куда же я?!» Напрягалась из последних сил, но, тоненькая, распластанная, обессилела окончательно, тогда сказала самой себе, но так, словно сказала всего-навсего о потерянной вещи: «Ну и пусть...» И окончательно расслабилась, отдалась душителю.

\*\*\*

С рассветом старый домишко загорелся. Наступила немая тишина, после тайфуна особенно вязкая, закладывающая уши, пронзенная инфразвуком далекого прибоя. Лежал в скованной тишине залив, дремал поселок, мокрый, замусоренный, пустой, будто вымерший: упавшие столбы, перерубленная проводами тепличка, мастерские с сорванной крышей, протекшая электростанция, детсад с выдавленными стеклами, погромленные сараи. Ворона прилетела из дальнего распадка, села на водокачке, радужно-черная, голодавшая трое суток, стала орать в раздумье, куда лететь: на разметанную стихией человеческую помойку

или на океанский отлив за выброшенной падалью. И первый житель — мужичок в мятой, растянутой до пупа майке, с дикого бодуна — не вышел, вывел себя, свою пульсирующую, булькающую голову на крыльцо и так озверело посмотрел на ворону, что, кажется, от его взгляда она замолкла, а мужичок перевел взгляд на соседнюю крышу и сначала ничего не понял, осоловело взирая на клубастый сизый дым, а потом сунулся назад в свою дверь и тут же вновь ошалело выбежал и полоумно, по-бабьи заорал, завизжал на всю округу:

«По-о-ожа-а-ар!..»

Домишко надавал дыму, клубы поднимались в небеса, утягивались в море, прозрачнели и легчайшим туманом накрывали суда на рейде. Но жар еще был спрятан в щелях, пламя только на мгновение являлось на воздух подвижными бледно-сизыми язычками и опять всасывалось внутрь, и где-то там его становилось все больше, оно пучилось в тесноте, и чувствовалось, что оно вот-вот вырвется все разом, во всей своей пожирающей силе, с ревом, с пляской, с диким аппетитом.

Домишко дряхлел целый век: каждый втекавший под его крышу год откладывался в деревянных суставах трухой и плесенью. Когда-то внутри стены были оклеены плотной шершавой бумагой и в токонома, японском алтаре красоты, специальной нише, висела скромная картина с белым журавлем и тонкой девушкой в сиреневом кимоно и высоких гета на маленьких ножках. Бумага со временем обветшала, хозяева по военной бедности для большего тепла оклеили стены газетами с сообщениями

о победах императорской армии. С приходом же на остров нового народа картина потерялась, а на стены, на газетные столбцы иероглифов легли «Известия», «Правда», «На рубеже», а лет пятнадцать спустя появился первый слой обоев, дешевых фабричных, в бурой облезавшей краске. Расковыряв полуторасантиметровую бумажную слоенку, можно было расковырять всю историю Южных Курил.

Русские поселенцы разделили дом перегородкой, легкую приподнятую кровлю разобрали и заменили низкой и тяжелой, потрескавшаяся черепица отправилась в отвал, а вместо нее на крышу лег грязно-серый рубероид, а потом и шифер. Для непромокаемости рубероидом покрыли и стены дома, так что он совсем утратил южную летучесть, приобрел северную приземистость, почернел, отвердел, выметнул из-под рубероидных юбок-завалинок пучки крапивы и лопухов. Дом помнил своих хозяев и знал их слабости: мелкий чиновник, командированный из Немуро, коммивояжер из Саппоро, сезонные рыбаки из Аомори, секретарь партячейки родом из Донецка, мореманы, грузчики, тихая и одинокая библиотекарка, инвалид-киномеханик с семейством, капитан-пограничник, плотник... — жильцов выдувало из него сквозняком времени, дом кому-то был трамплином, а кому-то — ямой.

С моря хорошо видели пожар. Терпкий дух, летевший за полторы мили, вытеснял все остальные запахи. Мореходные люди выбирались из жарких судовых утроб смотреть береговую катастрофу, похожую издали на большой костер, вокруг которого плясали дикари. И сам капитан, заспанный, с дрябловатым, припухшим лицом,

на котором отпечатались ночные узоры наволочки, но успевший надеть дорогой элегантный спортивный костюм и в поспешной небрежности не расправивший загнутый кверху воротничок, — капитан ближайшего к берегу похожего на гигантского краба траулера-морозильника, бледными пальцами с розоватыми ноготками настраивал маленький, но мощный японский бинокль. Втягивая жадным пупырчатым носом запах чужого горящего жилья, он слышал, как моряки поблизости робко и суеверно шутили о пожаре, чтобы заглушить собственную тревогу, полнящую их невольными воспоминаниями о своих утратах и горестях. В запахе уместилась вся жизнь погорельцев — все те сотни обиходных мелочей, которыми обычно окружают себя люди, чего касаются их руки, на что смотрят глаза, что набивает оскомину у хозяев до полной утраты смысла, — все смешалось в один коктейль гари.

В бинокль было видно, что среди сбежавшегося на пожар народа только один взрослый человек ничего не делал для борьбы с огнем: не носил воду в ведрах от берега, не спасал барахло из пылающего дома, не выкрикивал советы. Когда пожар охватил половину дома, человек тот махнул рукой и отошел в сторону. Капитан четче навел резкость, пытаясь взглянуть в черты незнакомца, который, появившись вот так мимоходом в световом зримом поле бинокля, наверное, через минуту уже навсегда исчезнет со своей бедой из поля зрения капитана — стоило только убрать от глаз бинокль и пойти в кают-компанию, скушать на завтрак что-нибудь щадящее желудок, да выпить хорошего молотого кофею со сливками,

да выкурить мягкую сигарету, и уже не останется в памяти ни этого человека, ни самого пожара с его огненным надрывом и дикой пляской огнеборцев с ведрами. Капитан положил бинокль на животик и пошел на другой борт, где разгорался счастливый день, где можно было без усилий сменить собственные впечатления: с горьковато-щемящих на благодушно-солнечные. И походя он попросил выглянувшего на палубу малорослого всклокоченного старшего помощника:

— Пора готовить судно, Антон Васильевич. Выходим.

Человек на берегу слонялся по околице пожара в душевной опустошенности, осунувшийся, с потемневшим взглядом, и только покачивал головой, начинающей сидеть на висках, и хмыкал как-то отчаянно и энергично. Но это не было растерянностью, в нем дикий всплеск энергии — куда-то бежать, орать, спасать, тащить из огня — насильно слился с разочарованной холодной трезвостью: дом в сорок минут превратится в груды пылающих головешек, и, как ни суетись, ничем не предотвратишь такого исхода. Он без раздражения, а, скорее, с недоумением, как на дурачков, смотрел на людей, бешено орущих, носящих ведра с водой и почему-то на руках тащащих мотопомпу, — были на их лицах такие свирепость и решимость, будто спасали они не развалюху с пыльной рухлядью, а решали судьбы мира.

Человек этот вышел за калитку, сел на толстое дровяное бревно. Он совсем сник, опустил широкие плечи и нагнул голову, выставив из-под ворота рубашки крепкую коричневую от загара шею. И мальчишки, бывшие

здесь, стоявшие на бревне, чтобы быть повыше и видеть все отчетливо, ушли в сторону. Он сунул крепкую сигаретку в сведенный рот и забыл о ней.

Пламя тем временем обняло всю кровлю и с левой стороны прожгло сквозные дыры — там сияли алые жгучие ребра обрешетки, а с правой стремительно вспучивало рубероид, он словно кипел; из чердачного окна густо и черно валило от старых болотных сапог, рыбацких резиновых костюмов, мотоциклетных покрышек, телогреек, валенок, детских пластмассовых игрушек — все эти давно забытые предметы возникли в памяти Семёна Бессонова — так звали погорельца, и теперь он отчетливо вспоминал картонные коробки, набитые ненужными, списанными на чердак вещами. Он очень хорошо понимал теперь, что ему было жалко вовсе не барахло погибающее, а то, что с этим барахлом и домом связано — хотя и обрыдлую, но ведь и отмеренную, знакомую во всех мелочах и поворотах жизнь. Как бы ни было ему в той жизни, теперь — в той, попробуй-ка шагни и узнай, что там, за этим пожаром, какое карабканье предстанет взору, когда тебе уже под пятьдесят. Он теперь понимал, что шагнуть-то как раз и было боязно или не столько боязно, сколько томительно, тяжело, ленно, хотя в той жизни сколько раз он духарился и грозился все порушить да начать заново.

Его стала заедать нелепая мелочь: погладил на себе рукав рубашки, хорошей новой рубашки из мягкой байки, ненавязчивой расцветки, как Бессонов и любил, коричневой в большую черную клетку, и не смог вспомнить, когда успел надеть ее. Сознание его вновь и вновь

проворачивало те немногие стремительные события, разыгравшиеся полчаса назад: едва соседи подняли крик на улице, он только в штаны успел влезть — в них и выскочил, а как и когда надел рубашку, не помнил. Помнил, что топором рубил дверь к соседке Тане Сысоевой, помнил, как, не смея открыть глаз или вдохнуть, шарил в ее половине дома, уже до краев залитой плотной дымной тьмой, как наконец нащупал неподвижное голое тело, свалившееся на пол у дивана, и схватил его без разбора где-то на спине за шкуру, как за тряпку, так и выволок, уже сам задыхаясь, давясь дымом. И еще помнил о столкновении уже в своем коридорчике, узком, заставленном, с женой, в минуту опасности проявившейся главным своим чувством, — в белой ночной сорочке, сквозь которую выпирал крупный пуп на трясущемся животе, с тонкими длинными ногами, была она похожа на старую толстую болотную птицу с белым крашеным растрепанным хохлом, — она под мышкой яростно волокла первое, что попало в руки, — ненужный грязный полосатый матрас, оставшийся еще от казенных советских времен. И супруга, ничего на пути не видя, неистово протаранила мужа спасаемой вещью, так что он, достаточно крепкий человек, был отброшен к стене. В сознании Бессонова теперь всплывала одна мелочь за другой, но про рубашку было совсем пусто. Отчего-то именно эта ничемная, непутевая мыслишка глодала его больше всего, и словно от нее он совсем обессилел, рук не мог поднять, чтобы прикурить потухшую сигарету. Вот жена его сильно кричала. Он слышал ее отчаяние и злобу, неизвестно к кому обращенную, к нему, наверное:

— Надоел ты мне, псих! Псих!.. Не могу я так больше!  
Не могу!

Да, к нему, решил он. Но потом жену увели. Он увидел ее ссутулившуюся спину. Соседка, толстая приземистая тетка, приобняв ее, похлопывала по спине тяжелой ладонью.

Пожар разросся в ревуший сноп, жар стоял нестерпимый, и люди с распаренными потными лицами отступили от огня: уже ни бешенства, ни азарта — только усталость на лицах и беспомощные улыбочки. Работала мотопомпа, и механик Никитюк, откинув назад крупное сальное лицо с болезненными мешками под глазами, в меховой шапке-ушанке («Зачем он ее напаял?» — думал Бессонов) поливал из брандспойта не пожар, а соседние крыши, на которых рубероид плавился, источался голубым паром. Но там, куда резвая струя воды не доставала, лопнула пламенем крыша сараюшки, несколько человек с ведрами метнулись туда. Дом же, отданный судьбе, прозрачнел в ревущем огне, оседал и вдруг рухнул сам в себя, разом уминая разбушевавшуюся стихию, и сначала дохнуло жаром с удвоенной силой, а потом пламя сразу сбилось, сникло, стихло в вялые языки. Дом перетек в атмосферу огнем и черным шлейфом — ушла вверх, рассеялась его столетняя душа. На земле остались только вонючие головешки да пара обгоревших железных кроватей с черными дужками спинок.

К Бессонову никто не подходил, лишь один тронул его за плечо — Бессонов и не заметил кто — и тут же оставил в покое: любые слова были бы не к месту. Но участковый

милиционер подошел: с бледным невыспавшимся лицом, маленький и шаткий, форма и погоны скрывали сникшую астеническую фигуру, — но с солидными буденновскими усами. Хлопал глазами, смотрел на пожар, на Бессонова, переминался, и Бессонов, раздраженный его безучастной назойливостью, сам спросил:

— Что, Сан Саныч?.. Что там соседка моя, ожила?

— А что ей, шлюшке, делается... — Усы приподнялись, а возле глаз легли тонкие лучики. — Они живучие, как кошки.

— Ну и ладно, — кивнул Бессонов, и он уже не хотел думать ни о соседке Тане, ни о Сан Саныче, который бормотал у него над ухом, так что половина слов исчезала в трескотне мотопомпы. Он поднялся, и Сан Саныч, возвышавшийся над ним, нависавший усами, сразу стал ниже, Бессонов мимоходом удивился тому, как человек за мгновение может поменяться: из властного, доверяющего — в хрупкого мужичка лет, наверное, тридцати с небольшим, которому не форму бы носить, а работать тихим истопником или воскресным сторожем.

— Может, и ладно, мне это все равно... — говорил Сан Саныч, блуждая глазами мимо Бессонова. — Если бы ты ее не вытащил, убыток небольшой был бы.

— Может, и небольшой, — безразлично согласился Бессонов.

Сан Саныч с сомнением, морщась так, что усы его теперь вяло отвисли, сказал:

— Я тебя вот что хотел спросить, Семён Андреич: заявление будешь писать?

— Какое заявление?

— Мое дело маленькое. — Сан Саныч всем видом демонстрировал, что и правда его дело маленькое. — Но жена твоя кричит, что дом подожгли, и ты, мол, знаешь, кто мог...

— С чего она взяла?

— Да ведь... если рассудить, то, может, оно и так... электричества не было, печей не топили, загорелось снаружи. Стены сырые — видать, бензином порядочно плескались...

— Я не о том. С чего она взяла, что я буду писать заявление?

— Если не хочешь, твое дело, не пиши, мне проще...

— Если я узнаю... — спокойно сказал Бессонов и поправился: — Если я точно узнаю кто, я ему отрежу руки.

— Ну так... — пожал плечами участковый.

— Ты просто знай, Сан Саныч, что я его не убью, а так и сделаю, как сказал. — Бессонов посмотрел на него во все без вызова, а, скорее, пусто: в его глазах, раскрасневшихся от дыма, слезившихся, не было ни обиды, ни злости, ни желания мести.

— Ну... как знаешь, но так, конечно, нельзя... Тебя тогда посадят, а статья порядочная... — сказал Сан Саныч уже в спину ему.

Пожар окончательно осыпался в раскаленную труху, пыхавшую вялыми сине-малиновыми языками, но дымившую еще густо и черно. Бессонов чувствовал на себе чужие взгляды — взгляд каждого — себе в спину, а что там было в этих взглядах: сочувствие? Нет, не сочувствие и, наверное, даже не переложенный на себя страх — скорее,

только любопытство, он так и подумал: «Любопытные... так всегда бывает со стороны... Они все любопытные... Даже Эдик и Жора, все... Я для них теперь что-то тайное... А какое тайное, к едрене фене, если все наоборот...»

Он нашел жену у соседей через дом, она сидела на хозяйской кровати, с заплаканным лицом, и он сначала невольно потупился, чтобы не встретиться с ней глазами, но не думал о том, что ему неприятно видеть ее такую: зареванную, красную, — он давно привык к ней ко всякой, но теперь ему не хотелось никакого участия к ней — ему хватало своего на душе, и он не сел на придвинутый хозяйкой стул, а так и стоял у двери, словно еще не выбрав, войти или сразу уйти, чтобы даже не слушать ничего, — он не выслушивать ее пришел, а высказать то, что самого его теснило.

— Твой язык... Почему ты всем говоришь, что дом подожгли?.. Не надо болтать, что взбрдет в голову...

Она вскинула на него глаза, и сквозь слезы и пунцовость проступило знакомое ему раздражение, то самое, что способно жить в человеке долго, отягощаясь годами, становясь чем-то вроде хронической болезни, к которой близкие привыкают и проявления которой они начинают даже ждать.

— А кого ты не цеплял, не оскорблял? Ты бы постыдился... Ты ведешь себя с людьми как мальчишка. Ты же опять подрался три дня назад, мне говорили...

— Я только гниду могу зацепить. А с этими я разберусь.

— И-и-иых... — замотала она головой. — Я больше слушать тебя не могу.

— Ну вот такой я нехороший, — усмехнулся Бессонов.

Она посмотрела на него уже не просто с раздражением — злобно:

— Прекратишь ты хотя бы сейчас кривляться?

— Кривляться? — Ухмылка сошла с его лица, он нахмурился. — Я-то как раз не кривляюсь. Ты кривляешься. Истерика твоя...

Она фыркнула, отвернулась, не вытирая катившиеся слезы, и он знал, что она в эту минуту проходила привычный круг обид, круг жалости к себе.

— Я все-таки уеду к маме...

— Хорошо, уезжай, — сказал он как можно спокойнее, совсем не так, как обычно говорил при подобных разговорах, и это спокойствие удивило ее. — Наскребем денег, займем... Я останусь на путину, с долгами рассчитаюсь...

Она всхлипнула, спрятала лицо в ладони, и это тоже было не так, как обычно, но, наверное, все поведение ее было на зрителя, на соседку, притихшую где-то за спиной Бессонова. Отняла руки и, не вытирая мокрые щеки, раздумчиво сказала:

— К маме... — Ей все-таки надо было завестись, она не могла так много держать в себе, и она опять всхлипнула с мучительностью. — Я двадцать лет назад уезжала с одним чемоданом, голая, пустая, нищая... Как же она кляла меня: зачем он тебе, дочь, плюнь на этого шального... Не послушалась. И теперь я такая же нищая, вернусь с тем же чемоданом, с тем же самым... Вытащили его, надо же, я видела... Именно его вытащили. Весь гардероб сгорел, а чемодан этот проклятый вытащили... Как я не хотела сюда ехать... Я ненавижу этот твой остров.



[Почитать описание, рецензии  
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

